



К. С. АКСАКОВ

Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души»

Мы нисколько не берем на себя важного труда отдать отчет в этом новом, великом произведении Гоголя, уже ставшего высоко предыдущими созданиями; мы считаем нужным сказать несколько слов, чтобы указать на точку зрения, с какой, нам кажется, надобно смотреть на его поэму.

Многим, если почти не всякому, должна показаться странной его поэма; явление ее так важно, так глубоко и вместе так ново-неожиданно, что она не может быть доступной с первого раза. Эстетическое чувство давно уже не испытывало такого рода впечатления, мир искусства давно не видал такого создания, — и недоумение должно было быть у многих, если не у всех, первым, хотя и минутным, ощущением: мы говорим о людях, более или менее одаренных чувством изящного.

Так глубоко значение, являющееся нам в «Мертвых душах» Гоголя! Пред нами возникает новый характер создания, является оправдание целой сферы поэзии, сферы, давно унижаемой; древний эпос восстает пред нами. Объяснимся.

Древний эпос, основанный на глубоком простом созерцании, обнимал собой целый определенный мир во всей неразрывной связи его явлений; и в нем, при этом созерцании все обхватывающем, столь зорком и все видящем, представляются все образы природы и человека, заключенные в созерцаемом мире, и, — соединенные чудно, глубоко и истинно, шумят волны, несется корабль, враждуют и действуют люди; ни одно явление не выпадает, и всякое занимает свое место, на все устремлен художнический, ровный непокойный, бесстрастный взор, переносящий в область искусства

всякий предмет с его правами и, чудным творчеством, переносящий его туда, каждый с полной тайной его жизни: будь это человек великий, или море, или шум дождя, бьющего по листьям. Всемирно исторический интерес, великое событие, эпоха становится содержанием эпоса; единство духа — та внутренняя связь, которая связует все его явления. (Мы говорим здесь про этот элемент эпоса, про необходимый объективный его характер, не входя подробно в разбор его; дальнейшему развитию не противоречат слова наши.) Этот древний эпос, перенесенный из Греции на Запад, мелел постепенно; созерцание изменялось и перешло в описание и вместе в украшение; мало-помалу бледнели фальшивые краски, более и более выдвигалось то, что и без помощи их, и само по себе имеет интерес — голое событие, которое в таком виде (то есть как голое событие) или, будучи историческим, должно быть отнесено к истории, или, будучи частным, сделаться анекдотом про себя¹. История укрыла наконец свои великие события от недостойного уже взора, столько раз их оскорблявшего; людям самим стало смешно, и они отошли от истории: название поэмы сделалось укорительно-насмешливым именем. Все более и более выдвигалось происшествие, уже мелкое и мелеющее с каждым шагом, и наконец сосредоточило на себе все внимание; весь интерес устремился на происшествие, на анекдот, который становился хитрее, замысловатее, занимал любопытство, заменившее эстетическое наслаждение; так снизошел эпос до романов и, наконец, до крайней степени своего унижения, до французской повести. Мы потеряли, мы забыли эпическое наслаждение; наш интерес сделался интересом интриги, завязки; чем кончится, объяснится такая-то запутанность, что из этого выйдет? Загадка, шарада стала наконец нашим интересом, содержанием эпической сферы, повестей и романов, унизивших и унижающих, за исключением светлых мест, древний эпический характер.

Мы не вдаемся в подробности, не упоминаем о произведениях, в которых есть достоинство и мелькают части или бледные оттенки эпического созерцания, но это только отрывки: само же эпическое созерцание с своей целостью, столь важным условием, ибо сама целость его есть вместе ручательство за него, было потеряно и унижено. Романы и повести имеют свое значение, свое место в истории искусства поэзии; но пределы нашей статьи не позволяют нам распространиться об этом предмете и объяснить их необходимое явление и вместе их смысл и степень их достоинства в области поэзии, при ее историческом развитии.

И вдруг среди этого времени возникает древний эпос с своей глубиной и простым величием — является поэма Гоголя. Тот же глубокопроникающий и все-видящий эпический взор, то же всеобъемлющее эпическое созерцание. Как понятно, что мы, избалованные в нашем эстетическом чувстве в продолжение веков, мы с недоумением, не понимая, смотрим сначала на это явление; мы ищем: в чем же дело, перебираем листы, желая видеть анекдот, спешим добраться до *нити завязки романа*, увидеть уже знакомого незнакомца, таинственную, часто понятную, загадку, думаем, нет ли здесь, в этом большом сочинении, какой-нибудь интриги помудренее; но на это на все молчит его поэма; она представляет вам целую сферу жизни, целый мир, где опять, как у Гомера, свободно шумят и блещут воды, всходит солнце, красуется вся природа и живет человек, — мир, являющий нам глубокое целое, глубокое, внутри лежащее содержание общей жизни, связующий единым духом все свои явления. Но нам не того надо: нам нужно внешнего содержания, анекдота, шарады, — и дичится давно избалованное эстетическое чувство, как ребенок, которого сажают за дело. В поэме Гоголя является нам тот древний, гомеровский эпос; в ней возникает вновь его важный характер, его достоинство и широкообъемлющий размер. Мы знаем, как дико зазвучат во многих ушах имена Гомера и Гоголя, поставленные рядом; но пусть принимают, как хотят, сказанное нами теперь твердым голосом; впрочем, мы хотим предупредить здесь одно недоразумение: только неблагонамеренные люди могут сказать, что мы «Мертвые души» называем «Илиадой»; мы не то говорим: мы видим разницу в содержании поэм; в «Илиаде» является Греция со своим миром, со своей эпохой, и, следовательно, содержание само уже кладет здесь разницу*; конечно, «Илиада» именно эпос, так исключительно некогда обнявший все. не может повториться; но эпическое созерцание, это говорим мы прямо, эпическое созерцание Гоголя — древнее, истинное, то же, какое, и у Гомера; и только у одного Гоголя видим мы содержание, только он обладает им, только с Гоголем, у него, из-под его творческой руки восстает наконец древний, истинный эпос, надолго оставивший мир, — самобытный, полный вечно свежей, спокойной жизни, без всякого излишества. Чудное, чудное явление! К новому художественному наслаждению призывает оно нас, новое глубокое

* Кто знает, впрочем, как раскроется содержание «Мертвых душ».

чувство изящного современно будит оно в нас, и невольно открывается впереди прекрасная даль.

Такое-то явление видим мы в поэме Гоголя «Мертвые души». Вот точка зрения, с которой должны мы смотреть на Гоголево произведение, как нам кажется. Пред нами в этом произведении предстает, как мы уже сказали, чистый, истинный древний эпос, чудным образом возникший в России; предстает он пред нами, затемненными целым бесчисленным множеством романов и повестей, давно отвыкшими от эпического наслаждения. Какие новые струны наслаждения искусством разбудил в нас он! Разумеется, этот эпос, эпос древности, являющийся в поэме Гоголя «Мертвые души», есть в то же время явление в высшей степени свободное и современное. Полнейшее объяснение, как, каким образом мог он возникнуть, именно у нас, и что знаменует, какое значение имеет его явление вообще, и в целом мире искусства, — это, разумеется, длинное объяснение — до другого раза, а теперь прибавим несколько замечаний, которые будут служить подтверждением нами сказанного.

Некоторым может показаться странным, что лица у Гоголя сменяются без особенной причины; это им скучно; но основание упрека лежит опять в избалованности эстетического чувства, у кого оно есть. Именно эпическое созерцание допускает это спокойное появление одного лица за другим, без внешней связи, тогда как один мир объемлет их, связуя их глубоко и неразрывно единством внутренним. Конечно, мы понимаем, что интрига со всей путаницей менее заставляет двинуться всем внутренним силам человека, менее, несравненно менее глубоко заставляет его, если только он может, почувствовать, принять впечатление; интрига, анекдот занимают любопытство и до такой степени унизили эпос в романах и повестях, что не нужно эстетического чувства, чтобы понимать их, интересоваться ими: это может всякий любопытный недурок; а охотнее человек принимается за то, что легче, что не требует большого напряжения внутренних его сил. Какая же интрига, между тем, какая завязка в «Илиаде»? Происшествие все в двух словах и открыто; какая завязка, интрига в Божьем мире, полном жизни и единства? * В поэме Гоголя явления идут одни за други-

* Нам скажут, может быть, что есть повести, в которых нет почти содержания. Точно, такие есть; зато в них одни *описания*, это только показывает, что они, при отсутствии эпической силы, не имеют и анекдотического интереса.

ми, спокойно сменяя друг друга, объемлемые великим эпическим созерцанием, открывающим целый мир, стройно предстоящий со своим внутренним содержанием и единством, со своей тайною жизни. Одним словом, как мы уже сказали и повторяем: древний, важный эпос является в своем величавом течении.

И точно, созерцание Гоголя таково (не говоря вообще о его характере), что предмет является у него, не теряя нисколько ни одного из прав своих, является с тайною своей жизни, одному Гоголю доступной; его рука переносит в мир искусства предмет, не изменяя его нисколько; нет, свободно живет он там, еще выше поставленный; не видать на нем следов его перенесшей руки, и поэтому узнаешь ее. Всякая вещь, которая существует, уже по этому самому имеет жизнь, интерес жизни, как бы мелка она ни была, но постижение этого доступно только такому художнику, как Гоголь; и в самом деле, все: и муха, надоедающая Чичикову, и собаки, и дождь, и лошади от заседателя до чубарого, и даже бричка — все это, со всей своей тайною жизни, им постигнуто и перенесено в мир искусства (разумеется, творчески создано, а не описано, боже сохрани; всякое описание скользит только по поверхности предмета); и опять только у Гомера можно найти такое творчество.

Интерес, разумеется, есть; но не интерес анекдота, занимающий в романах и повестях; интерес эпоса, поэмы. Я думаю, ясно, какой это интерес, после того, что мы говорили о самом эпосе. Прочтя первую часть, чувствуешь необходимость второй, чувствуешь живой интерес, но совсем не потому, чтобы узнать, как разгадается такая-то загадка, как распутается такая-то интрига; занимает не то, как разрешится такое-то происшествие; но то, как разрешится самый эпос, как явится и предстанет полное, все создание, как разовьется мир, пред нами являющийся, мир, носящий в себе глубокое содержание, тем более что, по словам Гоголя, раздвинуться должна широкая повесть.

Какой смысл получает теперь, после всего нами сказанного, название поэмы, стоящее в заглавии книги! Да, это поэма, и это название вам доказывает, что автор понимал, что производил; понимал всю великость своего дела.

Если сказать несколько слов о самом произведении, то первый вопрос, который нам бы сделали, будет: какое содержание? Мы сказали, что здесь нечего искать содержания романов и повестей; это поэма, и, разумеется, в ней лежит содержание поэмы. Итак, нас могут спросить, что же в ней заключается, что, какой мир объемлет

собой поэма? Хотя это только первая часть, хотя это еще начало реки, дальнейшее течение которой бог знает куда приведет нас и какие явления представит, — но мы по крайней мере можем, имеем даже право думать, что в этой поэме обхватывается широко Русь, и уж не тайна ли русской жизни лежит, заключенная в ней, не выговорится ли она здесь художественно? Не входя подробно в раскрытие первой части, в которой во всей, разумеется, лежит одно содержание, мы можем указать, по крайней мере на ее окончание, так чудно, так естественно вытекающее. Чичиков едет в бричке, на тройке; тройка понеслась шибко, и кто бы ни был Чичиков, хоть он и плутоватый человек, и хотя многие и совершенно будут против него, но он был русский, он любил скорую езду, — и здесь тотчас это общее народное чувство, возникнув, связало его с целым народом, скрыло его, так сказать; здесь Чичиков, тоже русский, исчезает, поглощается, сливаясь с народом в этом общем всему ему чувстве. Пыль от дороги поднялась и скрыла его; не видать, кто скачет, — видна одна несущаяся тройка. И когда здесь, в конце первой части, коснулся Гоголь общего субстанциального чувства русского, то вся сущность (субстанция) русского народа, тронутая им, поднялась колоссально, сохраняя свою связь с образом, ее возбудившим. Здесь проникает наружу и видится Русь, лежащая, думаем мы, тайным содержанием всей его поэмы. И какие эти строки, что дышит в них! и как, несмотря на мелочность предыдущих лиц и отношений на Руси, — как могущественно выразилось то, что лежит в глубине, то сильное, субстанциальное, вечное, неисключаемое несколько предыдущим. Это дивное окончание, повершающее первую часть, так глубоко связанное со всем предыдущим и которое многим покажется противоречием, — каким чудным звуком наполняет оно грудь, как глубоко возбуждаются все силы жизни, которую чувствуешь в себе разлитой вдохновенно по всему существу.

Указывать ли на места? Но без полного созерцания это значит вырывать их. Все, от начала до конца, полно одной неослабной, неутомимой, живой жизни, той жизни, которой живет предмет, перенесенный весь и свободно без малейшей утраты в область искусства; жизнь всюду, в каждой строке, и потому медленно надо читать Гоголя; содержание предлагается в каждом слове, каждая глава много, много наполнит человека, и изящное его чувство много, много насладится; нечего бояться потерять из виду внешнюю связь происхождения: здесь нечего сшивать в памяти, как бы ниткой, обстоятельства, как мы делаем это во многих по-

вестях, романах, где часто разыгрываем роль судей, посланных на следствие; но здесь не то, здесь нечего бояться за память, нечего бояться потерять единство: оно не внешнее, оно всегда тут; связует не наружно, но внутренне все предметы между собой; все оживлено одним духом, глубоко лежащим внутри и являющимся в гармоническом разнообразии и как в божьем мире. Мы не можем не сказать, что есть места, наиболее открывающие сущность вещи и дух самого автора, кто читал их, верно, помнит эти вдохновенные, торжественные места; мы же не хотели и не станем входить в подробности, ограничивая статью нашу только несколькими словами, общим взглядом и отдельными замечаниями*.

Вероятно, некоторые станут нападать на слог, но тут будет совершенная ошибка; слог Гоголя не образцовый, и слава богу: это был бы недостаток. Нет, слог у Гоголя составляет часть его создания; он подлежит тому же акту творчества, той же образующей руке, которая вместе дает и ему формы и самому произведению, и потому слога нельзя у него отделить от его создания и он в высшей степени хорош (мы не говорим о частностях и безделицах). Это наша вина, если мы не вдруг его постигаем; если можно не вдруг понять красоту произведения, то так же не вдруг понять и слог и оборот, вполне выражающий что надо; пора перестать смотреть на слог как на какое-то платье, сшитое известным и общим для всех образом, в которое всякий должен точно рядить свои мысли; напротив, слог не кроеная, не шитая вещь, не платье; он жив, в нем играет жизнь языка его, и не заученные формулы и приемы, а только дух сливает его с мыслью; тем более слог языка русского, имеющего в себе неиссякаемые источники сил, бездну едва уловимых оттенков и совершенно свободный, но не произвольный синтаксис. Надобно только постичь дух и законы языка, и Гоголь постиг это своим творческим гением.

В «Мертвых душах» мы находим одну особенность, о которой мы не можем умолчать, которая невольно выдается и невольно приводит нас на мысль «Илиаду». Это тогда, когда встречаются сравнения²; сравнивая, Гоголь совершенно предается предмету, с которым сравнивает, оставляя на время тот, который навел его на сравнение; он говорит, пока не исчерпает весь предмет, приведенный ему в голову.

* Такие тесные пределы не позволят нам сказать о многом, развить многое и дать заранее полные объяснения на недоумение и вопросы, могущие возникнуть при чтении нашей статьи. Но надеемся, что они разрешатся сами собой.

Всякий, кто читал «Илиаду», верно, вспомнит Гомера, читая сравнения Гоголя; вспомнит, как Гомер тоже, оставляя сравниваемый предмет, предается тому, с которым сравнивает; и это нас всегда невольно останавливало даже и у Гомера: потому, что мы далеко отодвинуты от полного эпического созерцания; но этот характер сравнения необходим при всеобъемлющем эпическом взгляде; у поэта-эпика не может быть намеков, он не может просто указать на предмет и удовольствоваться; нет, взор его видит его вполне, со всей его жизнью, в которой находит сродство с жизнью повествуемого предмета, и взгляд его объемлет его вполне, и он вполне, независимо, самобытно, не утрачивая сколько-нибудь своей жизни, потому что он взят как сравнение, предстает перед читателем. Если мы останавливаемся при Этаких местах и смущаемся, то ошибаемся мы; не просветлело еще наше эстетическое чувство, не вполне раскрылось оно, чтобы обнять создание.

Общий характер лиц Гоголя тот, что ни одно из них не имеет ни тени односторонности, ни тени отвлеченности, и какой бы характер в нем ни высказывался, это всегда полное, живое лицо, а не отвлеченное качество (как бывает других, так что над одним напиши: *скудность*, над другим: *вероломство*, над третьим: *верность* и т. д.); нет, все стороны, все движения души, какие могут быть у какого бы «то ни было лица, все не пропущены его взором, видящим ноту жизни; он не лишает лицо, отмеченное мелкостью, низостью, ни одного человеческого движения; все воображены в полноте жизни: на какой бы низкой степени ни стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного по образцу и подобию божью. Это видишь во всех его сочинениях. Вспомним «Ивана Федоровича Шпоньку»: человек, кажется, пустой в высшей степени, дурачок, большей частью лежащий на кровати, скинувши мундир; вспомним, как он, приехавши в свою деревню, выехал на сенокос: на него действует природа, он соединен с ней, тут он чувствует, но чувство выказалось в нем столько, сколько должно и могло выказаться. Говорить ли о «Старосветских помещиках», в которых столько глубоко человеческое значение открыл взор Гоголя, там, где другие увидали бы только пошлость и животность, он открыл и проложил путь сочувствию — человеческому и этим людям и к этой жизни. В «Мертвых душах» видим то же. Например, Манилов, при всей своей пустоте и приторной сладости, имеющий свою ограниченную, маленькую жизнь, но все же жизнь, — и без всякой досады, без всякого смеха, даже с участием смотришь, как он

стоит на крыльце, куря свою трубку, а в голове его и бог знает что воображается, и это тянется до самого вечера. Или Плюшкин, скупец, но за которым лежат иначе проведенные годы, который естественно и необходимо развился до своей скупости; вспомните то место, когда прежняя жизнь проснулась в нем, тронутая воспоминанием, и на его старом, безжизненном лице мелькнуло выражение чувства. Одним словом: везде у Гоголя такое совершенное отсутствие всякой отвлеченности, такая всесторонность, истина и вместе такая полнота жизни, не теряющей ни малейшей частицы своей от явлений природы: мухи, дождя, листьев и пр. до человека, — какая составляет тайну искусства, открывающуюся очень, очень немногим.

В самом деле, у кого встретим мы такую полноту, такую конкретность создания (отчего не употребить этого слова)? Скажем здесь, не обинуясь, наше мнение. Да, очень у немногих: только у Гомера и Шекспира встречаем мы тоже; только Гомер, Шекспир и Гоголь обладают этой тайной искусства. Опять неблагонамеренные люди скажут, что мы ставим Гоголя совершенно рядом с Гомером и Шекспиром; но мы опять устраним недоразумение. Гоголь не сделал того теперь (кто знает, что будет вперед), что сделали Гомер и Шекспир, и потому, в отношении к объему творческой деятельности, к содержанию ее, мы не говорим, что Гоголь то же самое, что Гомер и Шекспир; но в отношении к акту творчества, в отношении к полноте самого создания — Гомера и Шекспира, и только Гомера и Шекспира, ставим мы рядом с Гоголем. Мы далеки от того, чтобы унижать колоссальность других поэтов, но в отношении к акту создания они ниже Гоголя. Разве не может быть так, например, поэт, обладающий полнотой творчества, может создать, положим, цветок, но во всем его совершенстве, во всей свободе его жизни; другой создаст великого человека, взявши большее содержание, но только наметит его общими чертами; велико будет дело последнего, но оно будет ниже в отношении к той полноте и живости, какую дает поэт, обладающий тайною творчества. Итак, этим сравнением (хотя вообще сравнения объясняют неполно, но чтобы не писать длинной статьи) надеемся мы пояснить наши слова: *в отношении к акту творчества*. Но Боже нас сохрани, чтобы миниатюрное сравнение с цветком было в наших глазах мериллом для великих созданий Гоголя: мы хотим только сказать, что он обладает той же тайной, какой обладали Шекспир и Гомер, и только они; что он совершит еще, имея ее, после того, что он уже сделал, — будущее покажет; но он уже много сделал, и уже, наконец, является великая поэма, так много с собой принесшая.

Итак, повторим наши слова, как бы они странны ни казались: только у Гомера и Шекспира можем мы встретить такую полноту созданий, как у Гоголя; только Гомер, Шекспир и Гоголь обладают великой, одной и той же тайной искусства. И потому велико всякое создание Гоголя и мы с наслаждением смотрим на его творческую деятельность, так могущественно идущую вперед и уже так много нам давшую. Кроме его художественных повестей, которые так знакомы всякому образованному русскому, кроме всего остального он дал нам комедию, истинную комедию, какой нигде нет; он дает нам поэму; он может дать нам трагедию.

Мы знаем, многим покажутся странным слова наши; но мы просим в них вникнуть. Что касается до мнения петербургских журналов, очень известно, что они подумают (впрочем, исключая, быть может, «Отечественные записки», которые хвалят Гоголя³); но не о петербургских журналистах говорим мы; напротив, мы о них и не говорим; разве в Петербурге может существовать круг их деятельности!..

Еще одно важное обстоятельство сопряжено с явлением Гоголя: он из Малороссии. Глубоко в ней лежащий, художественный ее характер высказывается в ее многочисленных, мягких звуками песнях, живых и нежных, округленных в своих размерах; не таков характер великорусской песни. Но Малороссия — живая часть России, созданной могущественным великорусским духом; под его сенью может она явить свой характер и войти как живой элемент в общую жизнь Руси, объемлющей равно все свои составы и не называющейся Великоруссией (так бы она удержалась в своей односторонности и прочие части относились бы к ней, как побежденные к победителю), но уже Россией. Разумеется, единство вытекло из великорусского элемента; им дан общий характер; за ним честь создания; при широком его размере свободно может развиваться все, всякая сторона, — и он сохранил свое законное господство, как законно господство головы в живом человеческом теле; но все тело носит название человека, а не головы; так и Россия зовется Россией, а не Великоруссией. Разумеется, только пишучи по-русски (то есть по-великорусски), может явиться поэт из Малороссии; только русским может и должен явиться он, будучи таким же гражданином общей всем России, с собой принося ей свой собственный элемент и новую жизнь вливая в ее члены. Теперь, с Гоголем, обозначился художественный характер Малороссии, из ее прекрасных малороссийских песен, ее прекрасного художественного начала, возник на-

конец уже русский гений, когда общая жизнь государства обняла все свои члены и дала ему обнаружиться в колоссальном объеме; новый элемент искусства втек широко в жизнь искусства в России. Гоголь, принесший нам этот новый элемент, который возник из страны, важнейшей составной части многообъемлющего отечества, и, следовательно, так много выразивший, оправдавший (не в смысле: извинивший, но объяснивший) эту страну, Гоголь — русский, вполне русский, и это наиболее видно в его поэме, где содержание Руси, всей Руси занимает его, и вся она, как одно исполинское целое, колоссально является ему. Итак, важно это явление малороссийского элемента уже русским, живым элементом общерусской жизни, при законном преимуществе великорусского. Вместе с тем элемент малороссийского языка прекрасно внесен Гоголем в наш русский.

А великорусская песня!, песня русская, как называется она, и справедливо! ибо, стало, это племя не имеет односторонности, когда могло создать все государство и слить во живое едино все, с первого взгляда разнородные, враждующие члены; имя «русский» осталось за ним и вместе за Россией. Когда хотят говорить отдельно о действиях других племен, то придают им их племенное имя, потому что, отдельно взятые, они представляют, каждое, односторонность, от которой освобождаются, становясь русскими, с помощью великорусского элемента. А великорусское племя, следовательно, не имело этой односторонности или уничтожило ее самобытно, в своей собственной жизни, когда создало целое государство и дало в нем развиваться свободно всем частям. И так имя «русский» слилось с этим племенем, духом которого живет и движется государство; название: русская песня осталось преимущественно, и по праву, за песней великорусской. А русская песня, которую так часто вспоминает Гоголь в своей поэме, русская песня! Что лежит в ней? Как широк напев ее! Кажется, дух и образ великого, могучего пространства, о котором так прекрасно говорит Гоголь, лежит в ней. Нет ей конца, бесконечная песня, как называет ее он же. В самом деле, нельзя сказать, что русская песня оканчивается; она не оканчивается, но уносится. Когда слушаешь, как широкие волны звуков раздаются слабее и слабее, и наконец затирают так, что слух едва ловит последние звуки русской песни — нет, она не кончилась, она унеслась, удалилась только, и где-то поется, вечно поется.

